

Познер Владимир

И ЦЕННОСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ

Блестящая карьера при подозрительной биографии

Вы — человек необычной, можно сказать, удивительной судьбы. Сын эмигранта, родившийся на Западе, приезжает в СССР по сути еще в сталинские времена, поступает в главный университет страны, затем попадает на Гостелерадио и в итоге становится тем Познером, которого сегодня знает не только вся страна, но и Америка, Европа.

■ Как происходили эти повороты в вашей судьбе?

■ Какие люди влияли на формирование вашего мировоззрения?

■ Что вы любите и что не любите в своей стране?

Мой отец уехал с родителями из Петрограда в 1922 году, ему было 14 лет. Вначале жил в Берлине, затем в Париже, и, когда надо было получать паспорт, он не захотел быть французским гражданином: вероятно, сказалось его увлечение идеями революции, социализма. Он еще помнил матросов-большевиков и вообще мечтал стать советским гражданином, что позже и произошло. Но тогда, в Париже, он получил так называемый нансеновский паспорт, дающий право жить и работать в любой стране. Тем не менее с этим паспортом отец воевал во французской армии, затем уехал в Америку, где, как ни странно, и получил советское гражданство. Дело в том, что после того как в 41-м советские войска вошли в Прибалтику, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, позволяющий любому гражданину Латвии, Литвы и Эстонии, проживающему за рубежом, получить советское гражданство. А у папы отец был литовским гражданином...

Надо сказать, что мой папа сделал на Западе замечательную карьеру в кино. Он начинал как звукоинженер, затем стал менеджером в американской кинофирме «Метро-Голдвин-Мейер», занимался прокатом всех фильмов компании в Западной Европе и Латинской Америке, получал большие деньги, жил очень хорошо.

А в 48-м году, когда наступили времена маккартизма, хозяин пригласил отца и сказал, что не может больше держать его на этой должности в статусе советского гражданина. Предложил американское гражданство. Отец отказался, его уволили, занесли в черные списки, все наши американские друзья перестали с нами общаться, кроме одной удивительно мужественной семьи. В школе меня били как коммуниста, я, как коммунист, бился с обидчиками. Но вот в 48-м году советское правительство предложило отцу работу в Берлине в «Совэкспортфильме». Почему именно моему папе — теперь я понимаю. Сегодня я почти убежден, что папа работал на нашу разведку, я узнал об этом позже, когда стали доступными многие документы об этом.

Надо сказать, что с Германией были связаны самые тяжелые годы моей жизни. Я ненавидел немцев, Германию, в то же время не знал ни одного русского слова, а если, живя в советском секторе, ты не говоришь по-русски, значит ты — немец. И то, что меня таковым считали, было моей страшной трагедией. Я начал учить русский в школе для наших военных, которые не имели среднего образования. И должен признаться, что более нежного к себе отношения я не испытывал за всю последующую жизнь. Когда один капитан позволил себе пошептать над моим произношением, майор Ушаков (навегда запомнил эту фамилию) попросил меня выйти, и через закрытую дверь я услышал такой мат, которого не услышу уже больше никогда. Потом меня попросили войти, и бледный капитан попросил у меня прощения...

На родину мы вернулись в

шел Самуил Яковлевич — маленький, с огромной головой и лицом, испещренным мелкими морщинками. А еще в глаза бросились серые живые глазки и огромные, как у слона, уши. Маршак сказал примерно следующее: «Владимир Владимирович, у вас есть некоторые способности, но вообще вы ничего не умеете. Если вы хотите поработать у меня литературным секретарем, то я вас кое-чему научу».

Самуил Яковлевич, о чем речь! На самом деле я был у Маршака обыкновенным писателем, отвечал на письма, которые он получал из разных стран. Английский он знал хорошо, но, как говорится, пассивно. Он часто читал мне свои переводы. С ним я заново прошел всю русскую литературу, которую он просто мне открыл. Он очень дружил с Твардовским. Первая читка поэмы «За далью — даль» была у Маршака, и мне было дозволено молча послушать. К нему вообще приходил весь цвет нашей литературы, и два года работы с ним дали мне необычайно много.

Маршак был страшным курильщиком. Он вытягивал по пять пачек в день, поэтому любая болезнь сразу же перебарывалась на слабые легкие, он терял сознание, и начинался бред.

При этом он просил меня сидеть у его ног. Однажды пришел в себя, долго на меня смотрел и сказал: «Эх, Владимир Владимирович, уедем с вами в Англию...» Я отвечаю: «Конечно, Самуил Яковлевич, какой разговор!» — «Купим там карету. Вы будете сидеть на козлах и завлекать красивых женщин. Но внутри буду сидеть я, потому что вы все равно не знаете, как с ними надо обращаться». Вот таким был Самуил Яковлевич...

Платил он мне немного, поэтому, когда создавалось Агентство Печати «Новости» и когда меня туда позвали старшим редактором и предложили 190 рублей в месяц, Маршаку крыть было нечем.

Попал я в главную редакцию политических публикаций, я должен был редактировать статьи для размещения их в западной прессе. Я только позже понял, что пишутся они под ложными фамилиями и стоит за ними всем известная организация. Потом я работал в журнале «Soviet Life», и там уже я тоже стал причастным к пропаганде советского образа жизни на международной арене. Вспоминаю это, думаю, что тогда у нас было свободы больше, чем у других журналистов, — на экспорт надо было писать по возможности правдивее, иначе, чем для своих людей.

А дальше было Гостелерадио и уже иные памятные сюжеты.

Примерно в начале 80-х я стал появляться на американском телеэкране, будучи при этом совершенно невывезным. Тем не менее, поскольку у американцев было совершенно четкое представление — как должен выглядеть русский, то я, конечно, произвел на них некий культурный шок. Говорю не просто по-английски, а на американском, нью-йоркском языке и выгляжу не партийным бонзой и не генералом. Поэтому довольно скоро я стал там весьма известным и сильным советским пропагандистом, кем я, вне всякого сомнения, и являлся.

Впервые меня выпустили за рубеж в 77-м, но в 80-м я в интервью высказал сомнение в правильности ввода наших войск в Афганистан, и дверь захлопнулась — до начала перестройки.

А когда приближались события августа 91-го года, я получил визу и должен был ехать работать на американское телевидение в одном проекте с Филом Донахью. Эта перспектива открылась передо мной после ухода из Гостелерадио. А ушел я потому, что мне не разрешили критиковать Горбачева. Критика же заключалась, например, в том, что однажды я сказал: если бы завтра были выборы, то я бы проголосовал за Ельцина, а не за Михаила Сергеевича. Это правда, так и думал тогда. Сейчас мое отношение к этим персонажам совсем иное. Но тогда... В общем, утром 19-го, совершив пробежку, я включил

только потому, что его значение изгажено всевозможными псевдолюбителями родины, а попросту — нацистами. Нет, просто я не могу любить сразу 150 миллионов человек, это чужь, да и вообще у меня какая-то выборочная любовь к тому, что меня окружает. Я, например, обожаю Нью-Йорк, но не весь, а Манхеттен, да и то не целиком — определенную его часть.

Моя Америка — это Америка Джефферсона, Линкольна, Пита Сигера, Фолкнера, Марка Твена... Такая Америка — это, к сожалению, меньшая часть того, что представляют собой США. То же самое с Францией. И конечно же с Россией, с Москвой. Я терпеть не мог ни район, ни дом, где у нас был трехкомнатный кооператив. И я оклеил весь центр объявлениями об обмене. Счастье свалилось на меня в виде нашей нынешней квартиры в Чистом переулке на Арбате. В нашем дворе, говорят, Пьер Безухов объяснялся в любви Наташе. Здесь каждый дом имеет свое лицо, свою историю, свои скелеты в шкафу. Старая Москва — это мое, и с этим ничего нельзя поделать.

...Меня часто спрашивают — где бы я хотел жить, если бы выбор был безграничным. Затрудняюсь с ответом. Но есть место, где я хотел бы быть похороненным. Знаете, я отношусь к немодным ныне атеистам и считаю, что жизнь конечна. Возможно, скажется мое биологическое образование. Но вопрос — где лежать после смерти, оказывается, не такой уж простой и наводит совсем не на материалистические раздумья.

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ

Человек на все «Времена»



Спасибо «Общей газете» за замечательное утро, умные и волновавшие меня вопросы. Было хорошо. Удачи вам всем.

Есть в Калифорнии по дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес такое место, прямо над Тихим океаном скала, сверху течет горячая речка, снизу бьют ключи, и все это над дышащим океаном. У индейцев это считается святой землей — место, где сходятся три воды. Так вот там я впервые в жизни понял, что я на самом деле часть природы, что могу разговаривать с деревьями, что они меня слышат. Такое ощущение покоя и единения с природой, что я получил — вот тут бы лежать моему праху. Садится солнце, шумит океан, я бы, конечно, этого уже не видел, но шикарно...

Для миллионов можно только вещать

■ Курт Воннегут как-то сказал: «Мы все пишем для незнакомцев». Для кого пишете, точнее, для каких читателей пишите?

говариваю на кухне. Мне все равно, кто он — академик или истопник, но он один. Я высказываю лично ему свою точку зрения. Или задаю вопросы, которые мог бы задать он. Говоря с единственным человеком, я таким образом разговариваю со всеми. Как только человек, оказавшийся перед телекамерой, ощущает, что его видят и слышат миллионы, — всё, контакт кончается.

Телевидение, несомненно, мощнейшее средство воздействия на умы. У нас не без основания считается, что это прежде всего инструмент воздействия, скажем, на электорат. Но в Америке телевидение прежде всего — добыча денег. Одна минута эфира в «прайм-тайм» на американской телесети стоит примерно миллион долларов. В час на рекламу отведено 16 минут. Остальные 44 минуты — вещание. Значит, его надо сделать рейтинговым, таким, чтобы смотрело максимально большое количество зрителей. Но это тот случай, когда количество, как ни печально, в качестве не перерастает. Больше того, планка содержательности, качества сознательно снижается. Недаром в Америке главенствует принцип — информировать развлекает. Когда в сегодняшних новостях анонсируют новости завтрашние, то что это такое, как не шоу!

Вместе с тем в развитых странах есть другой класс зрителей и соответственно — другое телевидение. Оно не для жующих жвачку и пьющих кока-колу. Такое телевидение как Пи-Би-Эс живет не рекламой, а является по сути общественным. На его работу выделяет средства и

подозрен в некой ангажированности или политической зашоренности. Он как бы играет за зрителей, высказывает свое понимание происходящего на уровне обывденного сознания. И это, мне кажется, крайне важно, потому что таким, на первый взгляд, простодушным оценкам зритель доверяет гораздо больше, чем искусственным политологам или журналистам.

Тогда следующий проломит решетку...

■ Журналист и власть: какими должны или могут быть их отношения? Есть ли у вас любимые политики? Что вы думаете о наступлении власти на свободу слова?

■ Журналистская этика — это, если судить по нынешним нравам, что-то вроде химеры. Или вы думаете иначе?

■ Если говорить о высокой цели вашей профессии, есть ли она на самом деле? Или журналистика всего лишь форма самовыражения, удовлетворения любопытства отдельных рефлексирующих граждан?

К власти я отношусь профессионально. Моя работа прежде всего заставляет меня всегда подозревать власть, предполагать, что она меня и всех нас обманывает. Отдельно взятые политики могут быть мне симпатичны, но, будучи журналистом, я понимаю, что не

могу, не имею права ходить с ними в баню, играть в теннис, выпивать, закусывать. А о приятных мне политиках я могу отвечать только в такой плоскости: этот хорошо отвечает на сложные вопросы, этот смотрит в глаза, с этим интересно спорить... Помню, мне предложили взять интервью у Ельцина, когда он был еще в опале и работал в Гострое. Он вышел ко мне в великолепно сиявшем на нем темно-синем костюме, розовые щеки, голубые глаза, рукопожатие... тогда и впрямь крепкое. Я ему говорю: «Борис Николаевич, у нас полчаса и работать будем полчаса, чтобы ничего не резать». Он согласился и отвечал блестяще. Я спросил его: «Вы демократ?» Он говорит: «Нет, какой же я демократ? Вы же знаете, в какой стране я родился, в какой партии был всю жизнь. Может быть, в будущем, общаясь с людьми более демократичными, и я так стану...»

Прекрасный ответ. Помню, я пытался прижать его насчет общества «Память», тут он, что говорится, залег под корягу и ничего критического не высказал. После записи похлопал меня по плечу и сказал: «Все понимаю, но сейчас не время о них говорить...» То есть голова работала отлично. Интервью, конечно, не дали. Потом кассету выкрики и показали в Свердловске и Ленинграде. Ельцин позвонил мне и спросил: «У вас не будет неприятностей? Если что, скажите — я буду помогать». А когда я подал заявление об уходе с Гостелерадио, он предложил мне стать его пресс-секретарем. Я, конечно, отказался, но был тронут.

То, что произошло с Ельциным позже, — это уже отдельный и трудный разговор. А еще у меня есть слабость — Горбачев. Бывает, сердясь на него, ставлю его на иппонские воз-

можности. Представьте, вы берете интервью у министра обороны своей страны. Звонит телефон, и министр говорит вам: я должен на минутку оставить кабинет, пойдите ко мне, пожалуйста. Он выходит, а вы видите на его столе секретный документ, в котором написано, что через десять дней ваша страна объявит войну другому государству. Министр не специально это оставил, а по глупости. Что вы будете делать с этой информацией?

Так вот американские журналисты, в том числе и самые известные, отвечают — конечно, сообщу общественности. Когда этот же вопрос задаешь нашим, мало кто говорит — сообщу. Да еще ссылаются на секретность и патриотизм. Но ведь это не ваша задача решать, что должен знать народ и что не должен. Когда начнется война на нее начнут отправлять людей, их никто не спросит, хотят ли они умирать и убивать...

Но если говорить о моральной стороне нашей профессии, то не могу не вспомнить Габриэля Гарсиа Маркеса, написавшего небольшое эссе о проблемах журналистики. Маркес говорит, что его часто спрашивают о соотношении журналистики и этики. Маркес отвечает: отделить этику от журналистики — все равно что отделить жужжание от мухи. Не жужжит — значит, мухи нет. Нет этики — значит, нет профессионализма. В этом смысле наша журналистика крайне непрофессиональна.

Конечно, низкий уровень профессиональной морали обусловлен и тем, как многие наши коллеги поняли и стали пользоваться сваливающимся на них свободой слова. Для меня свободный человек — прежде всего ответственный человек, и журналист здесь

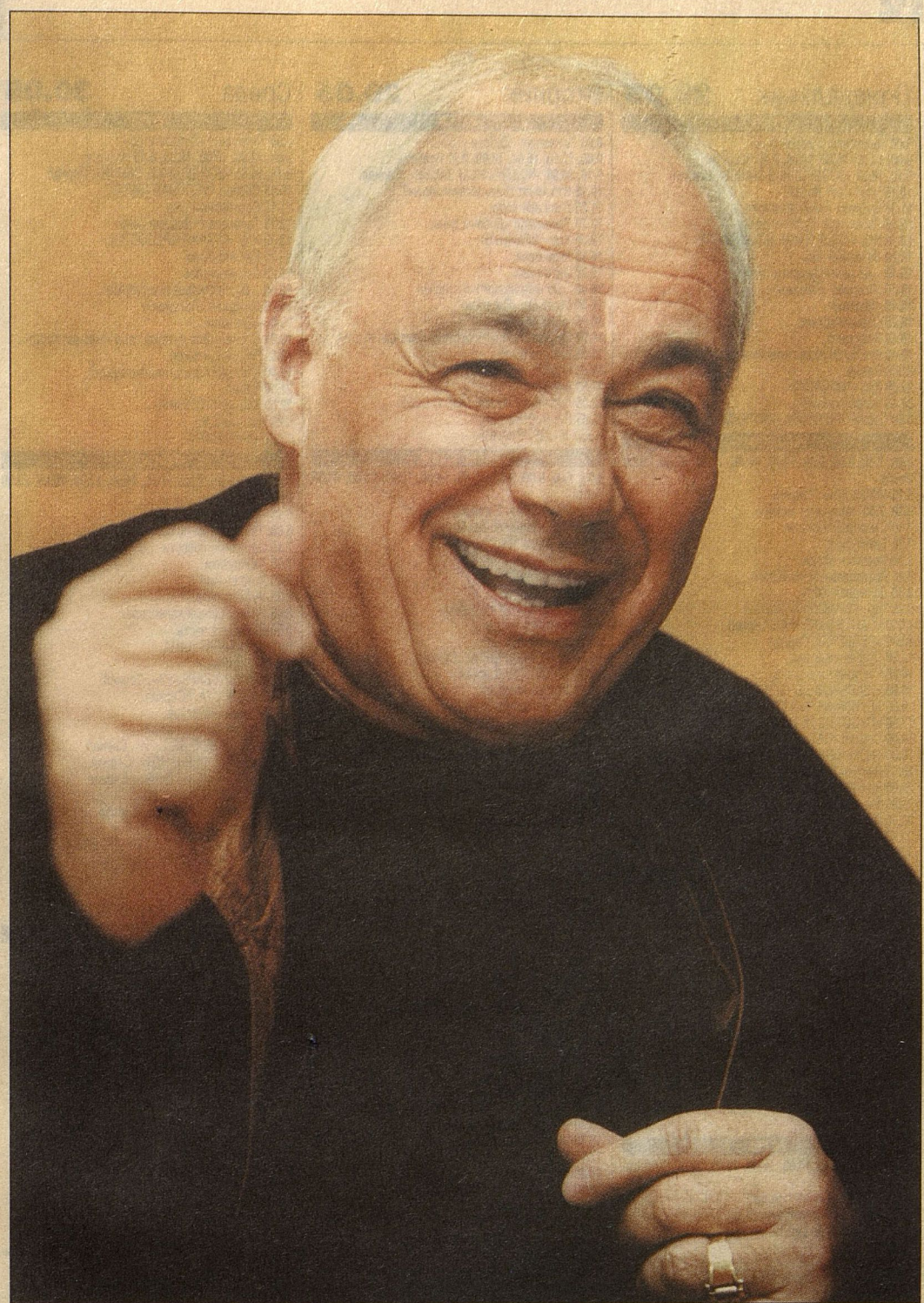
жизненный уровень, расти инфляция, продолжаться криминализация, расцветать коррупция. При таких условиях у власти проверенный выход — поиск врагов, как внешних, так и внутренних. И лозунг «Во всем виновата пресса» всплывает даже раньше лозунга о проклятых сионистах или масонах, тем более что журналисты за последние годы своей самонадеянностью, уверенностью в особой роли и непогрешимости умудрились сильно себе навредить.

Вряд ли нынешнее общество сможет этому противостоять. Я всегда привожу этот пример: когда в Испании был убит один молодой политик, на улицы страны вышел миллион человек. Кто у нас вышел, когда убили Галину Старовойтову? Скажете, что люди недавно выходили на защиту НТВ? Да, но их каждый день к этому призывали с экранов телевизора. А это уже нечто другое, несравнимое с высоким гражданственностью.

Что же в таком случае делать журналистам сегодня? Что должно. Профессионально и честно. Есть ли у нас высокая цель? Знаете, я лучше расскажу, как в 1977 году меня впервые выпустили за рубеж — в Венгрию, на телефестиваль. Я заскучал в маленьком городке, где мы жили, и попросился на денек съездить в Будапешт, где увидел афишу фильма «Пролетарият над гнездом кукушки».

Позже я написал Джеку Николсону письмо — о том, как он своей ролью изменил всю мою жизнь. Помните эпизод, когда его герой спорит с заключенными психушки, что оторвет от пола умыльшник? Помните, как он пробует это сделать? Кажется, что его сердце вот-вот лопнет. Раздается смех окружающих. И тогда он говорит ключевую для меня фразу: по крайней мере, я пытался. Позже другой герой, индеец, оторвет умыльшник и вышвырнет его в окно, сломав решетку.

У индейца получится, потому что герой Николсона пытался. С помощью своей работы, своей нынешней программы я хочу заставить людей думать, заставить их быть гражданами.



■ **Что вы любите и что не любите в своей стране?**

Мой отец уехал с родителями из Петрограда в 1922 году, ему было 14 лет. Вначале жил в Берлине, затем в Париже, и, когда надо было получать паспорт, он не захотел быть французским гражданином: вероятно, сказалось его увлечение идеями революции, социализма. Он еще помнил матросов-большевиков и вообще мечтал стать советским гражданином, что позже и произошло. Но тогда, в Париже, он получил так называемый нано-паспорт, дающий право жить и работать в любой стране. Тем не менее с этим паспортом отец воевал во французской армии, затем уехал в Америку, где, как ни странно, и получил советское гражданство. Дело в том, что после того как в 41-м советские войска вошли в Прибалтику, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, позволяющий любому гражданину Латвии, Литвы и Эстонии, проживающему за рубежом, получить советское гражданство. А у папы отец был литовским гражданином...

Надо сказать, что мой папа сделал на Западе замечательную карьеру в кино. Он начинал как звукоинженер, затем стал менеджером в американской кинофирме «Метро-Голдвин-Мейер», занимался прокатом всех фильмов компании в Западной Европе и Латинской Америке, получал большие деньги, жил очень хорошо.

А в 48-м году, когда наступили времена маккартизма, хозяин пригласил отца и сказал, что не может больше держать его на этой должности в статусе советского гражданина. Предложил американское гражданство. Отец отказался, его уволили, занесли в черные списки, все наши американские друзья перестали с нами общаться, кроме одной удивительно мужественной семьи. В школе меня били как коммуниста, я, как коммунист, бился с обидчиками. Но вот в 48-м году советское правительство предложило отцу работу в Берлине в «Совэкспортфильме». Почему именно моему папе — теперь я понимаю. Сегодня я почти убежден, что папа работал на нашу разведку, я узнал об этом позже, когда стали доступными многие документы об этом.

Надо сказать, что с Германией были связаны самые тяжелые годы моей жизни. Я ненавидел немцев, Германию, в то же время не знал ни одного русского слова, а если, живя в советском секторе, ты не говоришь по-русски, значит ты — немец. И то, что меня таковым считали, было моей страшной трагедией. Я начал учить русский в школе для наших военных, которые не имели среднего образования. И должен признаться, что более нежного к себе отношения я не испытывал за всю последующую жизнь. Когда один капитан позволил себе пошептать над моим произношением, майор Ушаков (навегда запомнил эту фамилию!) попросил меня выйти, и через закрытую дверь я услышал такой мат, которого не слышу уже больше никогда. Потом меня попросили войти, и бледный капитан попросил у меня прощения...

На родину мы вернулись в конце 52-го. Я поступил в МГУ на биологический, и до сих пор не жалею об этом. Во-первых, потому, что убежден: журналистом человека делает не факультет журналистики. Во-вторых, тогдашний биологический был потрясающим местом! Выгоняли из аудитории Лысенко, устраивали обструкции Лепешинской за ее бред по превращению неживого в живое, выпускали потрясающие стенные газеты в 56-м, когда наши танки вошли в Венгрию.

Я делал диплом о биологическом центре у рыб, поэтому был популярным человеком в общежитии, так как мог снабжать ребят не водой, а живым карпом, что по тем временам считалось в Москве деликатесом.

Тем не менее закончил я университет со свободным дипломом и уже твердой уверенностью, что ученым не буду. Дело в том, что к тому времени я уже серьезно увлекался переводами английской поэзии елизаветинских времен, и каким-то образом они попали к Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Когда он пригласил меня на разговор, мне показалось, что я иду на свидание с Господом. Вы-

скажи — давай» была у Маршака, мне было дозволено молча послушать. К нему вообще приходил весь цвет нашей литературы, и два года работы с ним дали мне необычайно много.

Маршак был страшным курьезником. Он вытягивал по пять пачек в день, поэтому любая болезнь сразу же перебарывалась на слабые легкие, он терял сознание, и начинался бред.

При этом он просил меня сидеть у его ног. Однажды пришел к себе, долго на меня смотрел и сказал: «Эх, Владимир Владимирович, уедем с вами в Англию...» Я отвечаю: «Конечно, Самуил Яковлевич, какой разговор!» — «Купим там карету. Вы будете сидеть на козлах и завлекать красивых женщин. Но внутри буду сидеть я, потому что вы все равно не знаете, как с ними надо обращаться». Вот таким был Самуил Яковлевич...

Платил он мне немного, поэтому, когда создавалось Агентство Печати «Новости» и когда меня туда позвали старшим редактором и предложили 190 рублей в месяц, Маршаку крыть было нечем.

Попал я в главную редакцию политических публикаций, я должен был редактировать статьи для размещения их в западной прессе. Я только позже понял, что пишутся они под ложными фамилиями и стоит за ними всем известная организация. Потом я работал в журнале «Soviet Life», и там уже я тоже стал причастным к пропаганде советского образа жизни на международной арене. Вспоминаю это, думаю, что тогда у нас было свободы больше, чем у других журналистов, — на экспорт надо было писать по возможности правдивее, иначе, чем для своих людей.

А дальше было Гостелерадио и уже иные памятные сюжеты.

Примерно в начале 80-х я стал появляться на американском телеэкране, будучи при этом совершенно неизвестным. Тем не менее, поскольку у американцев было совершенно четкое представление — как должен выглядеть русский, то я, конечно, произвел на них некий культурный шок. Говорю не просто по-английски, а на американском, нью-йоркском языке и выгляжу не партийным бонзой и не генералом. Поэтому довольно скоро я стал там весьма известным и сильным советским пропагандистом, кем я, вне всякого сомнения, и являлся.

Первые меня выпустили за рубеж в 77-м, но в 80-м я в интервью высказал сомнение в правильности ввода наших войск в Афганистан, и дверь захлопнулась — до начала перестройки.

А когда приближались события августа 91-го года, я получил визу и должен был ехать работать на американское телевидение в одном проекте с Филом Донахью. Эта перспектива открылась передо мной после ухода из Гостелерадио. А ушел я потому, что мне не разрешили критиковать Горбачева. Критика же заключалась, например, в том, что однажды я сказал: если бы завтра были выборы, то я бы проголосовал за Ельцина, а не за Михаила Сергеевича. Это правда, так я думал тогда. Сейчас мое отношение к этим персонажам совсем иное. Но тогда... В общем, утром 19-го, совершив пробежку, я включил на даче телевизор и увидел бледно-зеленого Юрия Петрова, сообщавшего о ГКЧП. И я понял, что с перестройкой все кончено — на их стороне КГБ, армия, все!

Мы сели с женой в «жигуленок» и въехали в Москву вместе с танками.

Дома у меня разрывался телефон — звонили иностранные корреспонденты. И я боялся подходить и что-либо комментировать. Потом немного пришел в себя и сказал жене, что иду гулять, чтобы подумать. Полдня я ходил по улицам и думал: если я сейчас выступлю, то не поеду ни в какую Америку, скорее, поеду в противоположную сторону. Я подвергнул опасность жену и сына... Но вернулся домой я с мыслью, что если не выступлю, то не переживу этого, не смогу смотреть на свою рожу в зеркало. Меня жена поддержала, и я выступил. Это преодоление страха сыграло колоссальную роль в моей дальнейшей жизни. А еще я горжусь, что мой сын, который в те дни был в Америке, сел в самолет и прилетел в Москву, хотя я его об этом не просил.

При этой своей гордости я не люблю слова «патриотизм». И не

перелуки на Арбате. В нашем доме, говорят, Пьер Безухов объяснял, почему дом имеет свое лицо, свою историю, свои скелеты в шкафу. Старая Москва — это мое, и с этим ничего нельзя поделать.

...Меня часто спрашивают — где бы я хотел жить, если бы выбор был безграничным. Затрудняюсь с ответом. Но есть место, где я хотел бы быть похороненным. Знаете, я отношусь к немодным ныне атеистам и считаю, что жизнь конечна. Возможно, называется мое биологическое образование. Но вопрос — где лежать после смерти, оказывается, не такой уж простой и наводит совсем не на материалистические раздумья.

рейтинговым, таким, чтобы смотрело максимально большое количество зрителей. Но это тот случай, когда количество, как ни печально, в качестве не перерастает. Больше того, планка содержательности, качества сознательно снижается. Недаром в Америке главенствует принцип — информировать развлекая. Когда в сегодняшних новостях анонсируют новости завтрашние, то что это такое, как не шоу!

Вместе с тем в развитых странах есть другой класс зрителей и соответственно — другое телевидение. Оно не для жующих жвачку и пьющих кока-колу. Такое телевидение, как Пи-Би-Эс живет не рекламой, а является по сути общественным. На его работу выделяет средства и

Журналистика этика — это, если судить по нынешним нравам, что-то вроде химеры. Или вы думаете иначе?

■ Если говорить о высокой цели вашей профессии, есть ли она на самом деле? Или журналистика всего лишь форма самовыражения, удовлетворения любопытства отдельных рефлексующих граждан?

К власти я отношусь профессионально. Моя работа прежде всего заставляет меня всегда подозревать власть, предполагать, что она меня и всех нас обманывает. Отдельно взятые политики могут быть мне симпатичны, но, будучи журналистом, я понимаю, что не

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ

Человек на все «Времена»



Спасибо «Общей газете» за замечательное утро, умные и волнующие меня вопросы. Было хорошо. Удачи вам всем.

Есть в Калифорнии по дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес такое место, прямо над Тихим океаном скала, сверху течет горячая речка, снизу бьют ключи, и все это над дышащим океаном. У индейцев это считается святой землей — место, где сходятся три воды.

Так вот там я впервые в жизни понял, что я на самом деле часть природы, что могу разговаривать с деревьями, что они меня слышат. Такое ощущение покоя и единения с природой, что я подумал — вот тут бы лежать моему праху. Сядьтся солнце, шумит океан, я бы, конечно, этого уже не видел, но шикарно...

Для миллионов можно только вещать

■ Курт Воннегут как-то сказал: «Мы все пишем для незнакомцев». Кто это пишет, точнее, с кем с экрана говорите вы? Кто этот человек, к которому вы обращаетесь? Или это миллионы людей сразу?

■ Телевидение — колоссальный инструмент для манипулирования общественным сознанием. Возможно ли телевидение для самостоятельного мышления, свободных и умных людей? Возможны ли сейчас телемосты вроде тех, что вы проводили в свое время в Америке? Если нет, то почему?

■ В программе «Времена» у вас есть «свежая голова», некое приглашенное и известное лицо, но далекое от профессиональной политологии, не-искусственное в экономике. Для чего вы это делаете?

На мой взгляд, человек, появляющийся на телевизионном экране, должен обладать одним главным даром — умением, если хотите, пробивать этот экран и оказывать ся рядом с отдельно взятым человеком. Для меня зритель, незнакомец, это человек, с которым я раз-

Конгресс США, его спонсируют как крупные промышленные корпорации, так и отдельные жертвователи. И в результате зрители видят, например, «Историю джаза», от которой, как говорится, закачаешься и в которой нет ни одной рекламной дыры. Зато в конце идут титры, в которых перечисляются спонсоры.

Да, у таких программ и у такого телевидения низкие рейтинги, но именно такие передачи поднимают планку национальной культуры, общественного самосознания.

Что касается возможности возобновления телемостов с США, то я смотрю на это с изрядным пессимизмом. Прежде всего потому, что мы сейчас перестали интересоваться американцем. Возможно, во время трагедии с «Курском» или истории с НТВ у них и возникли бы какие-то вопросы. Но в целом, после того как Россия перестала быть страной, которая им угрожает, пропал и интерес. Тут надо напомнить, что американцы вообще мало чем интересуются, кроме того, что их заботит в их повседневности. Поэтому представить, чтобы какая-то телестелс предложила сегодня провести телемост с Россией, я не могу. Не могу не уточнить, что нашу программу с Донахью увидели в США 8 миллионов человек, то есть далеко не все станции ею заинтересовались.

А вообще моя личная потребность в телемостах отнюдь не иссякла. Только я хотел бы сегодня диалог не с Америкой, а, скажем, с Израилем, с Украиной, с Грузией... Почему мы оказались с грузинами в таком отчуждении? Почему Турция сегодня им ближе, чем мы? Только на эти вопросы должны отвечать не лукавые политики, а просто люди, глядя друг на друга и пытаясь друг друга услышать, понять...

У меня в программе «Времена» таким неполитизированным человеком является «свежая голова». Это как бы голос здравого смысла. Конечно, я приглашаю персона, зритель, как правило, знакомую. Но при этом известный писатель, ученый, артист не может быть за-

могу, не имею права ходить с ними в баню, играть в теннис, выпивать, закусывать.

А о приятных мне политиках я могу отвечать только в такой плоскости: этот хорошо отвечает на сложные вопросы, этот смотрит в глаза, с этим интересно спорить...

Помню, мне предложили взять интервью у Ельцина, когда он был еще в опале и работал в Гострое. Он вышел ко мне в великопленном сиденье на нем темно-синем косяке, розовые щеки, голубые глаза, рукопожатие... тогда и впрямь крепкое. Я ему говорю: «Борис Николаевич, у нас полчаса и работать будем полчаса, чтобы ничего не резать». Он согласился и отвечал блестяще. Я спросил его: «Вы демократ?» Он говорит: «Нет, какой же я демократ? Вы же знаете, в какой стране я родился, в какой партии был всю жизнь. Может быть, в будущем, общаясь с людьми более демократичными, и я таким стану...»

Прекрасный ответ. Помню, я пытался прижать его насчет общества «Память», тут он, что говорится, залез под корягу и ничего критического не высказал. После записи похлопал меня по плечу и сказал: «Все понимаю, но сейчас не время о них говорить...» То есть голова работала отлично.

Интервью, конечно, не дали. Потом кассету выкрали и показали в Свердловске и Ленинграде. Ельцин позвонил мне и спросил: «У вас не будет неприятностей? Если что, скажите — я буду вам помогать». А когда я подал заявление об уходе с Гостелерадио, он предложил мне стать его прессекретарем. Я, конечно, отказался, но был тронут.

То, что произошло с Ельциным позже, — это уже отдельный и трудный разговор.

А еще у меня есть слабость — Горбачев. Бывает, сержусь на него страшно за упущенные возможности, за нерешительность, но он мне, особенно спустя годы, намного симпатичнее других. Уверен, что не только мне.

Что касается нынешнего президента, я с ним не знаком, ни разу не встречался. Сказать, что он мне симпатичен? Нет. Но ругать просто так, на уровне его гзбазной биографии, не считаю большой доблестью.

Предполагаю, что наш президент рассуждал примерно так: мы находимся сейчас в пункте А, добравшись нам надо до пункта Б, и там мы будем сильной демократической страной с могучей экономикой, хорошей жизнью и прочее. Но для того чтобы туда добраться, надо пожертвовать некоторыми завоеванными ранее свободами. Так вот я боюсь, что с такими условиями и такими советчиками, которые подталкивают президента, мы попадем не туда, куда хотели, а в какой-то пункт Г. Этого я боюсь больше всего, хотя повторяю — окончательной оценки Путина у меня пока нет.

Поэтому лучше возьмемся к нашей профессии и ее этической стороне, тем более что это имеет



прямое отношение к поведению власти. Представьте, вы берете интервью у министра обороны своей страны. Звонит телефон, и министр говорит вам: я должен на минутку оставить кабинет, пойдите, пожалуйста. Он выходит, а вы видите на его столе секретный документ, в котором написано, что через десять дней ваша страна объявит войну другому государству. Министр не специально это оставил, а по глупости. Что вы будете делать с этой информацией?

Так вот американские журналисты, в том числе и самые известные, отвечают — конечно, сообщу общественности. Когда этот же вопрос задаешь нашим, мало кто говорит — сообщу. Да еще ссылаются на секретность и патриотизм. Но ведь это не ваша задача решать, что должен знать народ и что не должен. Когда начнется война и на нее начнут отправлять людей, их никто не спросит, хотят ли они умирать и убивать...

Но если говорить о моральной стороне нашей профессии, то не могу не вспомнить Габриэля Гарсиа Маркеса, написавшего небольшое эссе о проблемах журналистики. Маркес говорит, что его часто спрашивают о соотношении в журналистике профессионализма и этики. Маркес отвечает: разделить этику от журналистики — все равно что разделить жужжание от мухи. Не жужжит — значит, мухи нет. Нет этики — значит, нет профессионализма. В этом смысле наша журналистика крайне непрофессиональна.

Конечно, низкий уровень профессиональной морали обусловлен и тем, как многие наши коллеги поняли и стали пользоваться сваливающимся на них свободой слова. Для меня свободный человек — прежде всего ответственный человек, и журналист здесь не исключение, тем более что у него в отличие от других граждан, как правило, есть трибуна.

Мне часто говорят о США как о бастионе свободы слова и независимости. Но именно в Америке любят повторять: нельзя в переполненном кинотеатре кричать

«пожар», даже если сильно хочешь. Это к вопросу об ответственности.

Теперь о другом. О том, что произошло с НТВ, сказано столько, что добавить нечего. Думаю, дальше с журналистами НТВ ничего страшного происходить не будет. Была поставлена задача — уничтожить медиамагната Гусинского, и она была выполнена весьма жестко с соблюдением одних правил и нарушением других. Но как человек, проработавший более шести лет в Америке, я не вижу в этом ничего нового. Когда в США закрыли нашу с Филом Донахью программу, это было сделано куда как с большим блеском. Когда пришло время продлевать с нами контракт, новый президент Роланд Эйлс, блестящий организатор телевидения, но человек крайне правых взглядов, пригласил нас и сказал: вы, Донахью, из бытового либерала, а Познер вообще левак, и у вас в программе слишком мало людей других взглядов. Мы продлим с вами контракт, но в нем у руководства должно быть право вмешиваться в содержание ваших передач.

Я сказал, что не для этого я уехал из Москвы от Главлита, чтобы столкнуться с цензурой здесь в самой свободной стране. А он сказал: мне плевать, почему вы приехали и как это делается у вас в Москве. Будет так, и всё. Я сказал — не будет. Он мне — тогда не будет контракт. Тут вмешался Фил со своим «Ну и идите к черту!» И мы ушли.

Рассказываю это не в наизадание, а к тому, что не надо идеализировать чужих прав и свобод. Скажу больше, когда один известный американский политик узнал эту историю, он позвонил известному телекритику в «Вашингтон пост», но тот, вы опять удивитесь, не написал ни слова.

Пострадало ли я, если в России будет меньше свободы слова? Пока я не испытываю на себе никакого давления. Конечно, это еще не гарантия самосохранения, если начнется что-то серьезное, связанное с фашизацией общества. А такая перспектива видится реальной, если будет ухудшаться

жизненный уровень, расти инфляция, продолжаться криминализация, расцветать коррупция. При таких условиях у власти проверенный выход — поиск врагов, как внешних, так и внутренних. И лозунг «Во всем виновата пресса» всплывет даже раньше лозунга о проклятых сионистах или масонах, тем более что журналисты за последние годы своей самонадеянностью, уверенностью в особой роли и непогрешимости умудрились сильно себе навредить.

Вряд ли нынешнее общество сможет этому противостоять. Я всегда привожу этот пример: когда в Испании был убит один молодой политик, на улицы страны вышел миллион человек. Кто у нас вышел, когда убили Галину Старовойтову? Скажете, что люди недавно выходили на защиту НТВ? Да, но их каждый день к этому призывали с экрана телевизора. А это уже нечто другое, несравнимое с высокой гражданской ответственностью.

Что же в таком случае делать журналистам сегодня? Что должно. Профессионально и честно. Есть ли у нас высокая цель? Знаете, я лучше расскажу, как в 1977 году меня впервые выпустили за рубеж — в Венгрию, на телефестиваль. Я заскучал в маленьком городке, где мы жили, и попросился на денек съездить в Будапешт, где увидел афишу фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

Позже я напишу Джеку Николсону письмо — о том, как он своей ролью изменил всю мою жизнь. Помните эпизод, когда его герой спорит с заключенными психушки, что оторвет от пола умыльальник? Помните, как он пробует это сделать? Кажется, что его сердце вот-вот лопнет. Раздается смех окружающих. И тогда он говорит ключевую для меня фразу: по крайней мере, я пытался. Позже другой герой, индеец, оторвет умыльальник и вышвырнет его в окно, сломав решетку.

У индейца получится, потому что герой Николсона пытался. С помощью своей работы, своей нынешней программы я хочу заставить людей думать, заставить их быть гражданами.

Поверьте, что для этого надо оторвать очень тяжелый груз. Может, не оторву.

Но я пытаюсь.

Подготовил
Юрий СОЛОМОНОВ
Фото Артема ЖИТЕНЕВА

Регулярные рейсы: Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск, Анадырь, Ганджа, Петропавловск-Камчатский, Баку, Владивосток, Ташкент, Хабаровск, Иркутск.
Тел: (095) 323-84-59
Факс: (095) 958-21-88
www.dmo.tch.ru

Домодедовские авиалинии